

# ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ

А.Н. Фатенков

## ПАМЯТЬ И ЭКЗИСТЕНЦИЯ В ОТГОЛОСКАХ ВОЙНЫ

**Аннотация.** В сопряжении с экзистенциальной гранью бытия и в соотношении с историческим типом мировосприятия рассматривается человеческая память, индивидуальная и коллективная. Не каждая индивидуальная память экзистенциально насыщена. Не всякая коллективная память лишена экзистенциальных мотивов. Говоря о коллективной памяти, имеет смысл различать как таковую память народа и его историческую память. Последняя, как и историческое сознание в целом, оценивается критически. Акцентируются проблемы памятования Великой Отечественной войны и экзистенциального восприятия войны как таковой. Методологически автор опирается на экзистенциальную диалектику, сопрягаемую с герменевтическим подходом. Противоречия жизни и её описаний разрешаются интуицией, подкреплённой ответственным личностным актом.

Утверждается и обосновывается мысль, что о войне вправе говорить только тот, кто прошёл её, и тот, по кому она прошла судьбами близких. Помпезность и политическая конъюнктура здесь неуместны. Не проигравшие – вот чей взгляд тут особенно ценен. Война предельно актуализирует проблему человечности, в частности, кровавую оппозицию «солдат – палач».

**Ключевые слова:** экзистенция, память, прошлое, настоящее, война, солдат, палач, история, литература, человечность.

**Abstract.** In conjunction with the existential edge of the being and correlation with the historical type of the world perception, this article examines the human memory – individual and collective. Not every individual memory is existentially rich, and not every collective memory is deprived of existential motifs. Speaking of the collective memory, it is important to differentiate an actual memory of the people from their historical memory. The latter along with the historical consciousness as a whole, is critically evaluated. The author focuses attention on the problems of mindfulness of the Great Patriotic War, as well as existential perception of the war itself. The contradictions of life and its descriptions are resolved by intuition, strengthened by a personal responsibility. The author claims and substantiates the thought, that the people who have the right to speak about war are those who have either gone through it, or those whose families lives were affected by it. Pomposity and political conjuncture are inappropriate in this regard. The opinion of the victors is of most importance. War ultimately actualizes the problem of humanism, and in particular, the bloody opposition “soldier-torturer”.

**Key words:** literature, history, torturer, soldier, war, now, past, memory, existence, humanism.

### Концептуальный плацдарм

Память – то, что теряют. Нередко. Экзистенция – то, что обретают. Порой. Существование, перетекающее в сущность, и сущность, воплощающаяся вдруг актуальным содержанием. Такова экзистенция. Миг подлинности, настоящего. Парадоксальная полнота Я, когда оно не равно себе без недоста-чи и без избытка. Когда оно не больше и не меньше самого себя. И не нуждается в знаке равенства между своими сторонами, левой и правой, – и ни в каком опосредующем знаке между ними. Я здесь, не скрываясь от сущего, делает излишним упоми-

нение о себе. Выраженными явно остаются лишь действия и состояния – небессубъектные однако. «Радуюсь. Тревожусь. Люблю». В них Я пребывает без ограничения, а потому и без исчерпывающей экспликации, которая, предельно овнешняя нечто, отграничивает его от всего остального, помещая в полосу отчуждения.

Память есть атрибут сознания, индивидуального и коллективного. В его композиционной целостности она тесно связана с воображением, также представляя в некотором роде то, чего нет, в данном случае – уже нет. Память связана не только с реконструкцией прошлого и конструиро-

ванием будущего, но и с восприятием текущего, настоящего; с восприятием чувственным и интеллигибельным. И дело тут не ограничивается ролью априорных форм, сохраняющихся в разуме до всякого последующего опыта и фундирующих его. Важна длительность – световых и звуковых волн, действующих на наши внешние органы чувств, электрохимических процессов в мозгу, логико-грамматических процедур в речевом сознании. Длющиеся, они оказываются ответственными за временной зазор, который существует между брошенным взглядом и запечатлённым с его помощью образом, между мыслью невербализованной и вербализованной, между внутренней и внешней формами слова.

Встреча экзистенции и памяти неизбежна. Но не на онтических полюсах, не в точках присутствия только одной из них, а на пути их друг к другу. Экзистенция невозможна вне обострённого настоящего; она растворяется, скрадывается в беспрестанной обращённости к прошлому (как и в перманентных фантазиях будущего). Экзистенция невозможна и в усечённом настоящем, лишённом настоящего прошлого. Память – субъектный феномен, не сводимый к объективному воспроизведению-тиражированию прошедших времён и событий. Воспоминание сопрягает прежние смыслы с нынешними в акте экзистенциальной реставрации. «Только исходя из того, что составляет высшую силу современности, вправе вы толковать прошлое», – справедливо утверждает Ф. Ницше [1, с. 132]. За требованием объективных исторических ретроспекций всегда скрываются притязания господствующей идеологии; и притязания эти тем настойчивее и циничнее, чем корыстнее идеологические принципы правящего слоя и чем более вуалированы они в сфере общественного сознания.

Не каждая индивидуальная память экзистенциально насыщена. Виной тому – недостаток или избыток социализации. Когда человек не видит никого вовсе вокруг себя и / или когда не видит никого конкретно между собой и большим обществом. Память исключительно о самом себе нелепа, она просто неотличима от идентификации себя, атомизированного, в настоящем. Оторопь берёт, когда на просьбу к студентам назвать имена и отчества их бабушек и дедушек не получаешь в группе ни одного полного ответа. Память, она всегда – ещё о чём-то и ком-то другом, кого и чего сейчас нет. Прошлое всплывает образами близких тебе людей, друзей и врагов. Воссоздание в индивидуальном сознании безличных черт канувшего в Лету общественного строя или явления – воссоздание какое угодно: ценностно нейтральное, язвительное, уни-

лительное – свидетельствует о гипертрофии социального в мировоззрении человека.

Не всякая коллективная память лишена экзистенциальных мотивов. Всё зависит от того, сколько осталось в обществе человеческого, не выставляемого напоказ, на всеобщее обозрение, не превращаемого в пиар-акцию и идеологическую кампанию. Тотальная визуализация сущего чрезвычайно опасна, она возводит цинизм из маргинального состояния во всеобщее, в норму, растворяет его в обыденности до неузнавания. Некогда Ф. Ницше, отвергая притязания замурованных, чувственно невоспринимаемых сущностей и ратуя за неповерхностную конкретику явленного, требовал: «Или снимите свои маскарадные уборы, или будьте тем, чем вы кажитесь» [1, с. 120]. Императив был принят к исполнению. И как-то буднично, рассудительно-безвольно – с лёгкостью, которая, думается, неприятно удивила бы немецкого философа. Обошлось без гамлетовских борений. Никакой особой решимости, чтобы опустошить себя, зачистить потаённые уголки внутреннего мира и слиться с пожизненной маской, людям не потребовалось. Скорыми темпами сложилось общество постмодерна.

Человеческая ситуация в мире сегодня – как обычно, но по-своему – непроста: общество перманентных презентаций отсекает совесть как метафизическую химеру, традиционные ценности на бессовестной почве оборачиваются мракобесием. Религиозные фанатики и / или их безыдейные двойники (фигурантов уже не различить), вооружённые новейшим коммуникативным инструментарием, на весь мир демонстрируют свои зверства. А у жертв, актуальных и потенциальных, недостаёт нравственной силы и правоты для радикального обуздания технически оснащённых бесчеловечных и контркультурных практик. Понятно, что без жёстких мер, ответных и превентивных, здесь уже не обойтись. Ясно и то, что очаги боевых действий фрагментарно перекинутся на территорию дряхлеющей европейской цивилизации, приоритетно озабоченной своими пластическими операциями и подбором макияжа. Пока же две программы виртуального, религиозная и научно-техническая, сочетаясь, успешно расчеловечивают человека и мир.

История, последним росчерком своего пера, – со ссылкой на объективную закономерность или на несчастный случай – так или иначе оправдывает нигилистический исход, как всегда она прямо или косвенно оправдывает прошлые злодеяния. Природа – и в живых своих проявлениях, и в окаменелостях – сохранит память о человеке, как она поступает и ныне. Память более избирательна, чем

история, и менее склонна к оппортунизму. Надежда на неё. Французская иллюстрация. Из Ж. Бернаноса: «Франция образца 1940 года – состоявшая из подавляющего большинства петэновцев и только горстки голлистов – и Франция образца 1944 года – состоявшая из подавляющего большинства голлистов и только горстки петэновцев – это одна и та же масса людей, невероятно подверженная различным влияниям» [2, с. 80–81]. Память – хотя бы вот этого одного свидетельствующего человека – тут неизгладима. История, нюансировкой объяснительных интерпретаций, охотно сглаживает неприятные воспоминания. Собственно, сама мысль цитируемого автора не жалуется бытие во времени, податливое к проступкам.

Русское словосочетание «историческое беспамятство» допускает толкование с парадоксальным оттенком: «неимение подлинных образов прошлого не из-за отсутствия исторического взгляда, а, напротив, вследствие его наличия». Такое возможно в ситуации *исторического эгоизма*, когда содержательная скудость небеспокоящего (в идеале) настоящего и невнятица целеполагания на будущее компенсируется апелляцией к реальному (но неадекватно воспроизводимому) или попросту вымышленному величию прошлого. Недостигнутая здесь адекватность не синонимична объективности, а отсылает к нелукавой позиции небесстрастного субъекта.

Критика исторического мировосприятия может вестись с разных позиций, в том числе далёкой от постпозитивистских выпадов против «историцизма». В данном случае она исходит из заметно иных предпочтений: диалектики – перед формальной логикой; метафизики – перед научно удостоверимым знанием; искренности субъекта – перед игрой в объективизм. Словом, в пику номиналистически фундированному критическому рационализму она ведётся с позиции экзистенциального реализма. То в умеренном, то в радикальном ключе. Нет-нет, да и вспомнишь сентенцию А. Камю: «История – земля бесплодная, вереск на ней не растёт» [3, с. 436]. А в продолжение – мысль Э. Юнгера: осознание движущегося мира не освободило человека от архаичных фобий, но лишь трансформировало их; «...метафизический страх, свойственный египтянам, равносильно у нас страху историческому: то, что наша магическая выраженность может погибнуть в потоке времени, – вот работа, которая движет нами» [4, с. 465].

Говоря о коллективной памяти, имеет смысл различать как таковую память народа и его историческую память. Они отличаются друг от друга, как жизнь отличается от своей истории, как цензурированное произведение от цензурированного.

Историческая память есть грань исторического сознания, которое – в той версии, что сегодня значима для людей, – переоткрыто немецким идеализмом и, шире, просвещенческой, рационалистической европейской традицией. Будучи пронизанным духом критицизма (по крайней мере, на уровне деклараций), исторический рационализм и сам, в свою очередь, может и должен быть подвергнут критическому рассмотрению. Особенно с учётом его масштабной экспансии, под которую угодило, несомненно, и отечественное культурное пространство, в первую очередь, в лице образованных слоёв нашего общества. А ведь именно они принимают самое активное участие в формировании и корректировке общественного сознания.

Вернёмся к выстроенной оппозиции: память народа – историческая память народа. Первая – судьбоносна, вторая – законосообразна. Память как таковая и гораздо строже памяти исторической, упрямо защищая себя от перестроечной идеологической конъюнктуры, – и несравнимо более щадяща; скрадывая себя, она одаряет нас способностью не к переименованию – к забвению (чего-то хорошего и чего-то плохого). Рука об руку с ней – гордость, но не гордыня; неуспокоенная совесть, но не вечные муки души. Память как таковая, пусть и не без труда, но раз за разом отличает реально бывшее от фантазируемого, воображаемого. Историческая память, изрядно гипотетичная (во всяком случае, в пространстве отечественной культуры [5]), легко опредмечивает, субстанциализирует всего лишь желаемое, недействительное. Память народа не столько небесстрастная мысль (сентиментального концентрата и в рационализме немало), сколько небезвольно мыслимое чувство – чувство внутреннее, не выставляющее себя напоказ, не конвертируемое в материальный доход. Об исторической памяти снять фильм можно, и можно загонять зрителей на просмотр его: вчера – о достоинстве красных, сегодня – о достоинстве белых. Как таковую память народа на картину не перенести. Она тяготеет к публичной визуализации и презентации, подобно фронтовику с ампутированными конечностями и рваными ранами на теле. Память народа сосредоточена не только в его психике, ментальности, но и в его соматическом субстрате. Буквально. И никакому идеализму здесь места нет.

## Взглядом непроигравшего

Кто вправе говорить о войне? Только тот, кто её прошёл, и тот, по кому она прошла судьбами родных и близких. Остальное – пустословие. Масштабные суждения касательно прошлого и на-

стоящего, макросоциальные и геополитические ретроспекции, констатации, прогнозы заведомо недостаточны, отдадут кощунством при игнорировании или умалении личностной событийной подоплёки, экзистенциально-родовой, саднящее встраивающей человека в череду поколений и настырно возвращающей его к самому себе. Только помня о дедах, проливших кровь, не утрачивая в душе их образ, допустимо всерьёз обсуждать страшные перипетии 1941-го – 1945-го годов. Наши старшие, защищая тогда себя, свои семьи, друзей и любимых, защитили родину и государство. Их ратный труд полон смысла, не девальвируемого ни последующим распадом страны, сбережённой ими когда-то, ни крахом господствовавшей некогда идеологии. И ещё. Войну выигрывают солдаты и окопные лейтенанты – проигрывают генералы, монархи и президенты. Такова справедливая иерархия тревожного бытия.

Историю пишут победители. Однако удача сопутствует далеко не всегда и не всем, кто поистине прав. Будь иначе, давно бы настал мир во всём мире – или цепь войн, а не мирные передышки, следовало бы рассматривать эталоном и триумфом справедливости. Если же люди стремятся всё-таки к мирной жизни, именно в ней надеясь отыскать и утвердить правду, но, несмотря на это, вооружённые столкновения продолжаются, то, значит, в любой войне, по её окончании, в стане победителей есть невыигравшие, потерявшие почти всё, в стане побеждённых – непроигравшие, несломленные.

Осмысливая итоги Первой мировой, Э. Юнгер, немецкий философ-фронтвик (того же поколения и того же офицерского чина, что и мой дед, изредка рассказывавший и о штыковых атаках, и о братании на передовой), резюмирует: «Ту войну вели между собой не только нации, но и две эпохи [бюргерская и небюргерская. – А.Ф.]. Поэтому в нашей стране есть как победители, так и побеждённые. Победители – те, кто подобно саламандре прошли сквозь огонь опасности. Только они смогут утвердиться в новую эпоху, когда не надёжность, а опасность будет определять порядок жизни» [6, с. 255]. Ни слова упрека философу-воину, наивно похоронившему мировое мещанство, недооценившему живучесть и мимикрию эгоистично-осторожного буржуа. «Герои погибают, торжествует мещанин – старый, как земля, закон», – отдавая дань павшим товарищам, твердит и русский словесник, ополченец, блокадник» [7, с. 509]. Да и оставшимся в живых героическим натурам нелегко противостоять мещанскому укладу, не соблазниться маргинальной ширмой «потерянного поколения». В рассуждении легендарного немца, однако, важно другое.

Указание на *непроигравших* (думается, правильнее говорить о них, а не о победителях) в возможно и капитулировавшем государстве. Понятно, что речь идёт о ком-то из сражавшихся и бескорыстно трудившихся в тылу, а не о тех, кто сколачивал капитал или, отъехав в безопасное далёко, вещал оттуда о долге и патриотизме. Непроигравшие как нравственная опора настоящего и авангард наступающего будущего.

Впрочем, свидетельства непроигравших фигурируют лишь в качестве примечаний к историческому нарративу. Саму историю пишут победители – и ей, таковой, практически невозможно руководствоваться в будущих действиях. Для выигравших главное событие уже произошло, оно в прошлом, а впереди, ожидаемо, маячит лишь вереница рутинных побед. У Ф.А. Абрамова читаем: «Да, в войну мы кое над чем стали задумываться. А потом – победа. И она ослепила нас. Всё – мелочи. А послевоенные трудности? Они вызваны войной. Удобная система мышления» [7, с. 504]. Это раздумья непроигравшего. Они предельно значимы. В отличие от ропота побеждённых, который полярно смыкается с помпезными речами самодовольных победителей и столь же неконструктивен. Самооправдание, перемежаемое покаянием, никак не способствует формированию деятельного настроения. Последний подпитывается только освоением опыта непроигравших (с обеих противоборствовавших сторон): тех, кто взыскателен и требователен к себе и другим, к цене победы и поражения.

Историю пишут победители – и её, таковую, почти невозможно читать. Не из-за отчаянной весёлости и не из-за сердечной грусти в поведанном (их-то, напротив, по правде недостаёт), а вследствие редукации личностно пережитой людьми конкретно-содержательной неопределённости к объективистски-телеологическим схемам, к бухгалтерски честной статистике. О щадящей неопределённости жизни здорово сказано у того же Ф.А. Абрамова, когда он, вспоминая, вновь переживает первые дни войны, пришедшиеся на студенческую сессию. «По-человечески бы всё к чёрту. Последние дни, недели и уж во всяком случае месяцы живём. Да так точно и было для большинства. По общезнанию, по лестницам ходили живые мертвецы. <...> Но никто из них не знал этого. Если бы знал: невозможно жить. Самый великий закон природы – незнание» [7, с. 500]. Созвучно у Э. Юнгера: «На самом деле, незнание будущего – привилегия человека, это один из бриллиантов в короне свободы воли, которую он носит. Утратив её, он становится автоматом в мире автоматов» [4, с. 158]. Между справедливостью и объективностью (а ди-

вергенции здесь не избежать [1, с. 129]) без колебаний выбираем справедливость.

Не вышколенный рассудок законников-объективистов воскрешает правоту прошлого. «Правдивость исторического события подтверждается зеркалом времени, где отражаются герои саг и сказаний» [8, с. 246]. С поправкой на весомость печатного слова не забудем тут, конечно (а быть может, и в первую очередь упомянем), о жизненно-реалистичных литературных произведениях. Собственно, в поле нашего внимания как раз и находится несхоластическая словесность.

«Тихий Дон» М.А. Шолохова. Сколько зависти и злопыхательства вызвал он у коллег по ремеслу, у держащей нос по ветру учёной братии, у победившей бюрократии. В то же время репрессированные и эмигрировавшие участники донских событий зачитывались романом. Реакция официоза, приспособленцев и политико-параноидальной оппозиции понятна. Эта великая книга, согласимся с Ф.Ф. Кузнецовым, «...как никакая другая, с поразительной глубиной и правдой выразила подвиг и трагедию, заключённые в самом крупном историческом событии XX века, – русской революции» [9, с. 5]. Но и это далеко не всё. Прислушаемся к словам скандинавского лингвиста Г. Хьесто, который научно, «с цифрой в руках», разбил антишолоховскую кампанию касательно авторства романа. «Для меня “Тихий Дон” прежде всего роман о любви. Это роман о любви женщины к мужчине, о любви мужчины к женщине. При этом человек показан в тесной связи с природой, и цель природы – вечное самообновление через любовь. Но в... книге речь идёт и о другой любви, о любви к родине, к родной казацкой земле. Интернационализм – большое слово, но я не верю в интернационализм, если он не имеет глубоких корней в родной земле» [9, с. 482]. Так оно и есть.

Григорий Мелехов не персонаж – герой. Натурный человек с прочным внутренним стержнем, мужским обаянием и мужскими же шероховатостями. Не икона, но образец. Ничуть не нуждается во внешней опеке, понукании, в идеологических помочах. Всё внутри: интуитивное чувство справедливости, любовь к женщине, детям. Крепок в хозяйствовании. Искусен в военном деле. И вот кровавая междоусобица. «Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Всё отняла у него, всё порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он всё ещё судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других...» [10, с. 765]. Не победитель, нет. Но и не побеждённый. Да, некоторая неоднозначность, противоречивость: подмечаемые – кем-то с симпатией, кем-то

с настороженностью – и в литературном образе, и в исторических прообразах, и в авторе эпического произведения. Наверное, и в приводимом здесь его толковании, да и в толкователе тоже. Но ведь жизнь не модель, не схема, не вектор в двузначной системе координат. Вот и политические метания Мелехова выказывают не шаткость этого человека, а никчёмность политики в разрешении фундаментальных жизненных проблем. Верить – и ему, и правоте его окончательного решения дилеммы войны и мира. Сколько можно... «Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели. Ниже хутора он перешёл Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому» [10, с. 767]. Опустошённость? Не без этого. Но не рассыпался человек, и стелиться ни перед кем он не станет. Привычно, в молчаливой сосредоточенности, не обременит окружающих своими горькими думами – разве что изредка, кода вдруг «взорвётся» (казалось бы, по пустяку), – позволяя и автору с читателем не раскрывать душу каждому встречному.

## Война и смыслы в надрыв, шаткие и непоколебленные...

9 Мая. Дата, к которой эпитеты мало что добавляют. День уединённых раздумий, не терпящий суеты. Минута молчания длиною в двадцать четыре часа. А тут... Непонятный ажиотаж вокруг официальных гостей из-за рубежа: приедут – не приедут, и какого числа? Да, вообще-то, не больно они здесь и нужны. Это наш день. Для кого он действительно дорог, те приедут. Без всякого протокольного каприза. И ведь только с ними и есть, в сущности, о чём поговорить или помолчать – вместе. Напрягла, в этот год особенно, шумливость торжеств. На память сразу пришли заключительные страницы романа А. Камю. Главный герой, борец с чумой, не отступивший, сторонится ликующей площади. Он знает, что болезнетворный микроб никогда не умирает – всегда рядом. Доктор привычно идёт к пациенту, случайно или нет – к ворчливому старику, пережившему эпидемию. Тот, по опыту, ожидает вскорости море напыщенных речей. «Так прямо и слышу: “Наши мертвецы...”, а потом пойдут закутить» [11, с. 425]. Может, не надо громких слов (не всё ценное выразимо и словами), не надо экспрессий, обильных застолий – чуть-чуть лишь, рюмку-другую, чтоб горло не сдавливал спазм. Молча и неспешно, вслушиваясь в тишину, вспомнить старших. Вспомнить так, чтобы обращением к ним не прикрывать ни собственную слабость, ни язвы

социальной жизни. Бережная индивидуализация памятного, а не его эгоистичное потребление. В подмогу хрупкой человечности, а не в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Вот что подсказывает совесть. Или это слишком, и восприятие ситуации чересчур критично? Да нет. Перечитал автобиографическую прозу писателя-фронтовика. 30-летие Победы. Выжившие живы. «А они, они, которые легли под танки <...> ни единой награды». Помпезности празднества душа не принимает [7].

А. Камю щадит человека: разрушительный вирус, дескать, вовне, пусть и близко. Нет, зараза внутри. И потому не в чужаках и не в посторонних главная проблема. Прежде следует разобраться с неувязками, которые создаём сами себе. Память, как и сознание в целом, оперирует символами. Значение символизации – и в экзистенциальном, и в социальном плане – огромно. С этим невозможно спорить. Не забывая о трагическом в советской эпохе, допуская, далее, что социальное есть лишь среда обитания и развёртывания экзистенциального, следует откровенно признать: у Мая 1945-го – красный цвет, который сегодня усиленно пытаются заменить иной цветовой гаммой. Давайте уточним: Красное Знамя с Георгиевской лентой – это честно и достойно (гвардейский вариант), одна лента – это идеологическая каверза и символический подлог. Задумка политтехнологов понятна: приглушить советское и подчеркнуть национальное в обеих мировых-отечественных войнах. Однако и в национальном измерении, в чём нетрудно удостовериться, красный флаг весомее своих символических конкурентов. Сравним. Дореволюционная власть не выиграла внешнюю, империалистическую войну и проиграла войну внутреннюю, гражданскую. При Советах мы одолели агрессора, обеспечив страну в Восточной Европе «санитарным кордоном» со знаком «плюс». При постсоветской российской власти мы имеем на тех же рубежах «санитарный кордон» со знаком «минус».

Европе, здоровым силам в ней мы интересны прежде всего своей *невульгарной небуржуазностью*. Немецкий национал-большевик, антифашист Э. Никиш мемуарно свидетельствует: «Смысл позиции сопротивления [гитлеризму. – А.Ф.] был таким: если Германия должна сделать политический выбор, то она должна ориентироваться на Восток. Эта геополитическая позиция была в то же время и социальным выбором – выбором, направленным против капиталистической [посреднической. – А.Ф.] буржуазии» [12, с. 235]. Но быть по-настоящему интересным для других нельзя, не будучи интересным самому себе, не будучи самим собой. И чего удивляться теперешнему отноше-

нию Европы к нам, если там мы репрезентативно представлены ординарным буржуа с нефтегазовой рентой. Смехотворны стенания нынешних российских политиков по поводу несправедливости однополярного мира. Сами, своими руками разрушили другой полюс, делавший мир гораздо более устойчивым, а теперь предъявляем к кому-то претензии. (Разговоры о многополярном планетарном устройстве – от лукавого, вариация либерального блефа.) Итог удручающий: советская оптимистическая трагедия сменилась постсоветским трагифарсом. Сколько ещё нужно времени, и есть ли оно у нас, чтобы ответственно признать: на капиталистической платформе, какой риторикой её ни маскируй – «либеральной», «патриотической», «религиозно-духовной» – мы социально несостоятельны и рискуем не справиться с серьёзным цивилизационным противником. В сегодняшнем одномерно-сетевом мире, где всякая война, по сути, внутренняя (неудивительно, что жестокая до жути), и ядерный щит (созданный в советское время) может не помочь. Нужна непоказная солидарность, опирающаяся на социальную справедливость. Сейчас обе они у нас в дефиците.

Скромное праведное часто не замечается нами, броское праведное впечатляет, но и вызывает вопросы, сомнения. Любое неправедное, как приступ боли, фиксируется моментально. Вывести общую оценку общественной жизни всегда непросто. И всё же, вчерне... В СССР (с середины 1960-х годов как минимум, о чём могу судить по личному опыту) справедливости, может, и не было больше, но формы несправедливости не были столь вопиющи. Однако самое печальное в этом социальном сопоставлении не градация «лучше» – «хуже». Людито, вспомним ремарку Ж. Бернаноса, во многом всё те же, кардинальной смены поколений ещё не произошло. Стало быть, готовность к тому, чтобы насаждать и сносить теперешнюю несправедливость («ничего личного, только бизнес»), наличествовала в нас и тогда.

Выдержать фронтовые баталии и рассыпаться в мирное время. Выходит, война – не самое тяжкое испытание для общественно-политического строя. И для людей определённого сорта. Давно известно, истинно и поныне: заграничный боевой поход затевается из-за невозможности или, чаще, нежелания справедливо и ответственно решать внутренние проблемы. Из-за неверной оценки автохтонного потенциала и естественных рубежей своей земли. Из-за параноидальных амбиций властолюбцев вкупе с тривиальными грабительскими интересами правящего слоя и рядовых обывателей. В силу идейно-интеллигентских соблазнов: в

лихих атаках и окопной нужде преодолеть раскол в собственном сознании, свою отстранённость от народных масс, принести вещественно осязаемую пользу обществу, неопровержимо доказать реальную ценность каких-то идей. Замысел во всех случаях один: пренебречь кропотливым ежедневным трудом (если война понимается, конечно, ещё как эксцесс, аномалия, а не как жизненная норма); пренебречь ради церемонной славы, риска, бесприемного или окупаемого барышом, ради купирования душевных неурядиц в себе и исторических несообразностей в мире.

У войны есть ещё одна грань, перед которой критика (рационалистическая и моральная, в особенности) практически бессильна. Речь идёт о героическом, сакрально-магическом измерении батальей, включающем в себя эстетический аспект; последний становится превалирующим при скрадывании, истончении сакрального слоя реальности. Ж. Батай в некотором смысле уравнивает войну, ритуал жертвоприношения и мистику, «... всё это череда “восторгов” и “ужасов”, через которые человек включается в игру высших сил»; причём за битвой даже остаётся приоритет, ведь она, в отличие от религиозного действия, не знает театрализованных пауз [13, с. 286, 289]. Французский философ ссылается на армейские воспоминания Э. Юнгера. Действительно, «В стальных грозах» содержат богатый и неопровержимый в фактичности и в сути своей материал.

Описывая пережитое, Э. Юнгер упоминает о переплетении – в момент ночной вылазки – двух мощных чувств: «...растущего азарта охотника и страха его жертвы» [14, с. 104]. О застилающем глаза кровавом тумане в пылу атаки, когда никто не хочет брать пленных – хотя убивать, подчиняясь властительным первобытным инстинктам [14, с. 279]. В фокусе внимания вольно или невольно оказывается модернистское *восхитительно ужасное*. Вот перестрелка в наступательном бою. Солдат. «Пуля просверлила верх его каски и оставила на черепе длинную борозду. Мозг поднимался и опускался в ране при каждом ударе крови, но, несмотря на это, пострадавший мог ещё идти без поддержки» [14, с. 250]. Взгляд участника-очевидца событий фиксирует россыпь противоречий – в себе и вокруг. Дух чистого авантюризма – и нечто много большее, связанное с чувством Родины. Расщепление личного в общем – и распадение атакующей цепи с неизбежными поединками один на один. Противоборство – почти на равных – природной стихии и техники, тотальной необходимости и случая (с решающим значением секунд и миллиметров). Снимаются противоречия нередко эстетиче-

ским разворотом. Бамбуковой тростью в руке, раскуренной сигарой и фотоснимками – при штурме вражеской позиции. Панорамным сравнением пейзажей – унылых и красочных.

С позывами к войне вот так. Не всё спишешь на происки патологических злодеев. Порой «жизнь сама рвётся под дуло пистолета» [4, с. 94]. Но ни о какой равной вине за произошедшее и свершённое речи быть не должно. «Нет сомнения, что существуют отдельные фигуры, ответственные за кровь миллионов. <...> Независимо от инстинктов черни, им присущи ярко выраженная сатанинская воля, холодная радость от гибели людей, а может, и гибели всего человечества. <...> Их тянет к бойне, даже если это угрожает их собственной безопасности» [4, с. 92]. И ведь заранее не вычислишь, не пресечёшь. Всех этих незранных несостоявшихся в профессии, ремесле... Поначалу растворяющихся в толпе, а потом всплывающих во главе её, беснующейся и обречённой.

Держа в уме самые разные основания милитаристских поползновений, следует констатировать главное. Война – не камерный турнир экстремалов, не поединок неприкаянных, а массовое социальное явление, поэтому все попытки разрешить личные затруднения на полях сражений, попытки, притягательные кажущейся простотой, неизбежно оборачиваются перенесением экзистенциальной тяготы на плечи и судьбы других людей, в большинстве своём ничуть не повинных в опутавших тебя противоречиях. Признавая справедливой хотя бы одну войну, пусть исключительно оборонительную, мы устанавливаем или подтверждаем право на месть: иначе агрессора не обуздать. Признавая справедливыми все оборонительные войны, мы тем самым допускаем правомерность по крайней мере одной захватнической войны: лучшая оборона – это нападение. Попробуйте-ка возразить...

Война ребром ставит вопрос о человечности: её содержании, ценности и единственности. В нас, людях, есть только человеческое? – и тогда оно всякое: можем делиться пайкой хлеба с пленённым врагом, а потом изуверски казнить его [15]. Или в нас, помимо достойной, совестливой человечности сидит, скрываясь до времени, и принципиально иное, чудовищное? А может, вместе с противоречиво человеческим нам дано благодатное, чудесное иное? Или это последнее силится обуздать в нас принципиально греховную человечность? Вопросы не для чистого разума. Если и справится с ними, то разум небесстрастный и волевой. Человек, живущий своим трудом и умом (а философия испокон веков и учит его самостоятельности), ответственно заявит: в людях – только человеческое; в не-

людях, увы, тоже. Разное оно и в своей прикровенности, и в фонтанировании. Но другого не будет. И маниакальный вождь – сгусток наших нигилистических соблазнов, коррелят нашей очарованности поступью масс.

Есть ли на войне предел жестокости? Легитимна ли война по правилам (или же это абсурд)? Насколько нелегитимна война без правил? Непраздные вопросы: и в экзистенциальном плане (как будучи солдатом, не стать палачом?), и в плане социальном (как надёжно удостовериться в преступлении против человечности, если сама человечность противоречива?). Политико-пропагандистская риторика здесь не поможет. Она – по обыкновению, а ныне особенно – удручающе бесплодна в деле снятия реальных антагонизмов. Противоборствующие стороны навешивают друг на друга клишированные, зачастую одни и те же, ярлыки с выхолощенным содержанием, бихевиористски ожидая от реципиентов агитпропа примитивного отклика.

Солдат не палач? Нет, бывает и палачом (об этом искренняя повесть В.Ф. Тендрякова). Хотя, по правилам, не должен им быть. Или всё-таки должен, не может не быть? Без палача нет ни судьи, ни трибунала, ни наказания военных преступников. Как солдату выжить на войне и не проиграть, избежав палачества? Наверное, только будучи палачом и судьёй в одном лице (не слепым исполнителем приказов) и не растягивая время от вынесения до исполнения приговора. Пауза превращает воина в палача, оттяжка смертного приговора противнику – в издевательство над ним. Убей врага, жестоко, но без издёвок-пыток, – в бою. Убей или пощади, но не пытай-суди, – после боя. Вернее, сделай суд твой предельно скорым.

В момент и в точке аннигиляции палача и судьи появляется воин. Э. Юнгер вспоминает: «Во время войны я всегда стремился относиться к противнику без ненависти и оценивать его соответственно его мужеству. Моей задачей было преследовать врага в бою, чтобы убить, и от него я не ожидал ничего иного. <...> Убивали друг друга, не видя лиц» [14, с. 90, 253]. Запрещая себе, очевидно, вглядываться в них. И не только в силу инстинкта

самосохранения (опередить противника, не предавшись рефлексии), но и, интуитивно, во избежание судейско-палаческой роли.

Отшлю читателя и к книге Ж. Бернаноса. Тоже участник Первой мировой, в 1938-ом эмигрировал в Южную Америку – во многом в знак протеста против политики умиротворения агрессора, вернулся на родину после войны по личному приглашению Ш. де Голля. (О французском президенте как-то было сказано: он «из тех правых, что легко могут стать анархистами» [16, с. 273], – по мне, это лестная характеристика.) Французский писатель указывает на неустранимые прорехи в «правовом поле». Величю Нюрнбергского процесса «мешает воспоминание о Мюнхене. Кто однажды встал на колени перед тираном-победителем, неизбежно выглядит несколько комично в качестве его судьи» [2, с. 214]. Чем помнится сегодня трибунал в Гааге? Судилищем над сербскими политическими и военными лидерами.

Понятно, что сублимация судейства и палачества в воинство не избавит людей от пролития крови и от компромиссов с собственной совестью. Но подскажите другой рецепт (реалистичный, конечно, без пацифистского наива о мире во всём мире), как сражающемуся сохранить в себе человечность? Меня, признаться, больше волнует то, что скорый суд, спасая солдата от превращения в изувера-палача, может превратить страждущего в палача-автомат, никак не воспринимающего себя душегубом, не способного вовсе нечто подобное воспринимать. Или словами В.Ф. Тендрякова: «Выживите, но как будете жить? Разучились жалеть, страдать, равнодушны до древесности! Как жить нам потом – порченным среди порченных?» [15, с. 528].

Гарантированного положительного ответа нет. Но... Упрямо надеюсь на человеческое в человеке, на то, что ответственная небесчувственная мысль проворнее индифферентной механической операции по передаче команды к исполнению. Верю в интуицию, в правоту экзистенциально веренного мировосприятия – да, привычно тревожного. Враг не у ворот – он давно вторгся на твою территорию. Не дай застать себя врасплох!

### Список литературы:

1. Ницше Ф. Несвоевременные размышления II. О пользе и вреде истории для жизни / Пер. Я. Бермана, А. и Е. Герцык // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Культурная революция, 2005–2013. Т. 1/2. С. 83–172.
2. Бернанос Ж. Свобода... для чего? / Пер. Н.В. Кисловой, К.А. Чекалова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1014. 288 с.
3. Камю А. Прометей в аду / Пер. Н. Галь // Камю А. Соч.: в 5 т. Харьков: Фолио, 1997–1998. Т. 3. С. 435–437.
4. Юнгер Э. Излучения (февраль 1941 – апрель 1945) / Пер. Н.О. Гучинской, В.Г. Ноткиной. СПб.: Владимир Даль, 2002. 783 с.
5. Фатенков А.Н. Переживание прошлого в ситуации конца истории // Философия и культура. 2014. № 4. С. 535–545.



6. Юнгер Э. Об опасности // Юнгер Э. Националистическая революция. Политические статьи (1923–1933) / Пер. А.В. Михайловского. М.: Скимень, 2008. С. 252–258.
7. Абрамов Ф.А. Белая лошадь // Абрамов Ф.А. Собр. соч.: в 6 т. СПб.: Худож. лит., 1990–1995. Т. 6. С. 477–538.
8. Юнгер Э. Нерушимое // Юнгер Э. Националистическая революция. Политические статьи (1923–1933) / Пер. А.В. Михайловского. М.: Скимень, 2008. С. 245–247.
9. Кузнецов Ф.Ф. «Тихий Дон»: судьба и правда великого романа. М.: ИМЛИ РАН, 2005. 864 с.
10. Шолохов М.А. Тихий Дон. Роман в четырёх книгах. Кн. третья и четвёртая. М.: Худож. лит., 1968. 784 с. (Б-ка всемирной литературы).
11. Камю А. Чума / Пер. Н. Жарковой // Камю А. Соч.: в 5 т. Харьков: Фолио, 1997–1998. Т. 2. С. 185–426.
12. Никиш Э. Жизнь, на которую я отважился. Встречи и события / Пер. А.В. Перцева. СПб.: Владимир Даль, 2012. 560 с.
13. Батай Ж. Границы полезного. Отрывки из незаконченного варианта «Проклятой части» / Пер. И.Б. Иткина // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С. 235–309.
14. Юнгер Э. В стальных грозах / Пер. Н.О. Гучинской, В.Г. Ноткиной. СПб.: Владимир Даль, 2000. 336 с.
15. Тендряков В.Ф. Люди или нелюди // Повесть-89. М.: Современник, 1990. С. 526–572.
16. Дриё ла Рошель П. Дневник, 1939–1945 / Пер. под ред. С.Л. Фокина. СПб.: Владимир Даль: Ювента, 2000. 608 с.

## References (transliterated):

1. Nitsche F. Nesvoevremennyye razmyshleniya II. O pol'ze i vrede istorii dlya zhizni / Per. Ya. Bermana, A. i E. Gertsyuk // Nitsche F. Poln. sobr. soch.: v 13 t. M.: Kul'turnaya revolyutsiya, 2005–2013. T. 1/2. С. 83–172.
2. Bernanos Zh. Svoboda... dlya chego? / Per. N.V. Kislovoi, K.A. Chekalova. SPb.: Izd-vo Ivana Limbakha, 1014. 288 s.
3. Kamyu A. Prometei v adu / Per. N. Gal' // Kamyu A. Soch.: v 5 t. Khar'kov: Folio, 1997–1998. T. 3. S. 435–437.
4. Yunger E. Izlucheniya (fevral' 1941 – aprel' 1945) / Per. N.O. Guchinskoi, V.G. Notkinoi. SPb.: Vladimir Dal', 2002. 783 s.
5. Fatenkov A.N. Perezhivanie proshlogo v situatsii kontsa istorii // Filosofiya i kul'tura. 2014. № 4. S. 535–545.
6. Yunger E. Ob opasnosti // Yunger E. Natsionalisticheskaya revolyutsiya. Politicheskie stat'i (1923–1933) / Per. A.V. Mikhailovskogo. M.: Skimen", 2008. S. 252–258.
7. Abramov F.A. Belaya loshad' // Abramov F.A. Sobr. soch.: v 6 t. SPb.: Khudozh. lit., 1990–1995. T. 6. S. 477–538.
8. Yunger E. Nerushimoe // Yunger E. Natsionalisticheskaya revolyutsiya. Politicheskie stat'i (1923–1933) / Per. A.V. Mikhailovskogo. M.: Skimen", 2008. S. 245–247.
9. Kuznetsov F.F. «Tikhii Don»: sud'ba i pravda velikogo romana. M.: IMLI RAN, 2005. 864 s.
10. Sholokhov M.A. Tikhii Don. Roman v chetyrekh knigakh. Kn. tret'ya i chetvertaya. M.: Khudozh. lit., 1968. 784 s. (B-ka vseмирной literatury).
11. Kamyu A. Chuma / Per. N. Zharkovoi // Kamyu A. Soch.: v 5 t. Khar'kov: Folio, 1997–1998. T. 2. S. 185–426.
12. Nikish E. Zhizn', na kotoruyu ya otvazhilsya. Vstrechi i sobytiya / Per. A.V. Pertseva. SPb.: Vladimir Dal', 2012. 560 s.
13. Batai Zh. Granitsy poleznogo. Otryvki iz nezakonchennogo varianta «Proklyatoi chasti» / Per. I.B. Itkina // Batai Zh. «Proklyataya chast'»: Sakral'naya sotsiologiya. M.: Ladomir, 2006. S. 235–309.
14. Yunger E. V stal'nykh grozakh / Per. N.O. Guchinskoi, V.G. Notkinoi. SPb.: Vladimir Dal', 2000. 336 s.
15. Tendryakov V.F. Lyudi ili nelyudi // Povest'-89. M.: Sovremennik, 1990. S. 526–572.
16. Drie la Roshel' P. Dnevnik, 1939–1945 / Per. pod red. S.L. Fokina. SPb.: Vladimir Dal': Yuventa, 2000. 608 s.